

**ЛУЧШИЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
РОМАН**

ВЛАДИСЛАВ
БАХРЕВСКИЙ



ТИШАЙШИЙ

A decorative horizontal separator consisting of two symmetrical scrollwork elements at the ends of a horizontal line.

Издательство АСТ
Москва

УДК 82-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б30

Дизайн обложки *Александра Воробьева*
Иллюстрация на обложке *Екатерины Ферез*

Бахревский, Владислав Анатольевич.
Б30 Тишайший / Владислав Бахревский. — Москва :
Издательство АСТ, 2026. — 416 с. — (Лучший патриотический роман).

ISBN 978-5-17-181065-8

Алексей Михайлович – второй царь из династии Романовых и отец величайшего реформатора в истории России. И, хотя его правление пришлось на переломную эпоху, получившую название Бунтшный век, самого правителя за кроткий и добродушный нрав, прозвали Тишайшим. Роман посвящен истории его жизни и царствования. Внутри московского двора и шумных улиц посада, разворачиваются реформа православия, Соляной бунт, война за Малороссию и восстание Степана Разина. Автор переносит нас в прошлое, где историческая правда неотделима от художественного вымысла. Роман входит в список патриотической литературы для внеклассного чтения.

УДК 82-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-181065-8

© Бахревский В.А., 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Будто под коленки стукнули — рухнул Никита Иванович Романов на лавку, и лицо его, уж такое широкое, в единий миг все, от луковки носа до репки подбородка, стало мокрым от слез.

Черный вестник, боярин Борис Иванович Морозов, изумился обилию мокроты и, не в силах выжить из сухих своих глаз росинки, подвыл вдогонку. Романов, глядя на него утонувшими в слезах глазами, как от дурной водки передернулся.

— Никита Иваныч, тебе в Кремль спешить бы!

— Ты-то чего тут?! Ты-то чего хлопочешь?! — Романов от ярости и горя вскочил, зашатался, кафтанчик немецкий, зелененький, как из болотца, затрещал под мышками. — Постыдись, боярин, дела! Человек ведь помер.

— Почивший государь, царство ему небесное, — Морозов чуть всхлипнул, но дальше вел, словно орехи грыз, — миленький наш царь Михаил Федорович не оставил завещания. Среди нынешнего боярства есть такие лихоимцы, которые могут сказать: Земский собор 1613 года избирал на престол Михаила Романова, но не династию Романовых. Как бы не сыскались

охотники новых выборов. И мне ничего не ведомо, что делает и где он теперь, князь Семен Шаховской.

— Семен-то? — отирая лицо ладонями, задумался притихший Никита Иванович. — Семен небось при датском королевиче, где же еще?

— А не позабыл ли ты, Никита Иванович, царских обещаний принцу Вальдемару? Вместе с рукою царевны Ирины Михайловны царь Михаил Федорович на вечные времена жаловал датчанину Ярославль и Сузdalь. А в другой раз — Новгород и Псков. То ли — «или — или», то ли — «то и это». А также есть многие, коим запали в сердце мятежные слова архимандрита Хутынского монастыря Феодорита: «Бог ведает, прямой ли царевич Алексей, не подметный ли».

— Шубу! Дьявол ты, Борис Иванович! Поплакать не дал, дьявол! Шубу! Санки! В Кремль!

— Я прошу тебя быть в русском платье, — твердо сказал Морозов, — теперь все глядят, все слушают. Спеши, Никита Иванович. А я еще похлопочу о счастье моего воспитанника. За Стрешневыми помчусь, за Шерemetевыми, за Одоевскими... В армию, к воеводе Якову Куденетовичу Черкасскому, я уже послал человека присягу принимать. Якову Куденетовичу обещано боярство, минуя чин окольничего.

— Ныне вся поместная армия у Черкасского под рукой. Если татары и турки пойдут на Москву, князь Черкасский упредит их ударом. Стольник достоин боярства.

Морозов и Романов говорили одно, думали о другом и вполне понимали друг друга.

Наследник Алексей Михайлович был в Тереме, у матери Евдокии Лукьяновны. Сидел на полу, упершись ногами в изразцовую холодную печь, положив голову на материнские колени. Июльская душная ночь давила на грудь, но в покоях матери гулял тихий ветер, шевелил черные полотнища на завешенных зеркалах.

Евдокия Лукьяновна, зайдясь от горя, подурев, все перепутав, баюкала надежду свою, сыночка своего, будто он в зыбке лежал.

Под памятно-пронзительную ласку Алексей Михайлович забылся. Он и не спал вроде, но никакой воли теперь в нем не было. По щеке ползла, холодила не его слеза, мамина, но и она не мешала ему. Мама наконец вернулась. Она никуда не уезжала. Они жили бок о бок, но как взяли его в семь лет на мужскую половину, ни разу не взъерошила ему мягонькие волосы родная рука, не поскребла ноготком в затылке. Целовала мама, хрюстосуясь, раз в году, рядом стояла на молебнах. Теперь они были вместе, как много лет тому, как девять лет назад. И слава тебе, Господи! Хоть в горе, но соединились их любящие сердца: сыновнее, стыдливое до материнских ласк, и материнское, все терпящее.

Он про то не думал, но знал — эта горькая ласка прощальная. Не будет, может, в следующий миг уже мамы, будет царица-регентша, не будет мальчики — будет царь. А может, и ничего не будет. Придут и убьют.

Не страшно ему было знать, что вот придут и убьют. Слабых на царстве убивают, а бегать царям от слуг негоже.

Кто-то знает про то, сколько силы теперь за ними стоит: за царицей, за наследником, за всем выводком почившего государя. Сами они не знают, ничего не знают.

Мерно, не давая покоя городу, надрывали ночь колокола. Ночь никак не могла охладить воздуха. В покоях царя Михаила духота. Трещали свечи, рыдали где-то в дальних комнатах, в верхнем этаже и в нижнем. Шестнадцатилетний новый царь стоял под образами в парадном облачении цесаревича — скромничал, стоял без устали, который час уже, — принимал присягу. Мать сидела на месте отца, белая, холодная,

неживая, а сын жил. Тоже белый, натянутый, как тетива, но глаза его спрашивали каждого: добрый ли ты человек, по сердцу или по умыслу присягаешь мне?

Алексей Михайлович не садился, стульчик цесаревича за одну ночь стал ему маловат. Всю ночь стоял, всю ночь шли под его руку бояре, окольничие, думные люди. Первым поклонился царю-мальчику Никита Иванович Романов, двоюродный дядя, чина небольшого — стольник, но любимец всей Москвы. В первые часы ночи не торопились с присягой, кап да кап, потом — ручейком потекли, а под утро вся Москва кинулась к Успенскому собору принести присягу молодому царю да его благочестивой матушке, царице Евдокии.

2

Хлопотал Борис Иванович Морозов, как птица над гнездом хлопотал. Господи, как же он всю жизнь завидовал правителям: Борису Ивановичу Черкасскому, Федору Ивановичу Шереметеву. Все Московское царство жило по их слову, по их уму. Были вельможи рецистее, были деловитее, умнее гораздо, но кто из русских перечит царю? А прежний царь повторял слово в слово за Черкасским да за Шереметевым.

Свершилось! Алексею свет Михайловичу говорить словами Морозова, только не поспешить бы. Сразу-то на дыбы встанешь — голову отбьют. Чтоб землю из-под ног совсем не упустить, на четырех пока стоять нужно. Ничего, что поза неказиста. Борису Ивановичу пятьдесят шестой год, научили терпеть и ждать. Четверть века своего звездного ждал! Так ведь проще было! Ныне, когда вся Москва на поклон спешит, день — за год. Геенна огненная, а не жизнь.

Мимо приказов к нему идут, он слушает, но ничего не решает. Тихоней прикидывается, и все знают, что прикидывается. Он и не скрывает, что прикидывается, но власть пока что у старых слуг, у людей царя Михаила. Может, и не власть уже, но чины все у них.

Федор Иванович Шереметев — судья Стрелецкого приказа: войска у него; он же судья приказа Большой казны — деньги у него, у него Аптекарский приказ, а в приказе ведают царским здоровьем.

Во Владимирском Судном приказе сидит Иван Петрович Шереметев. В приказе творят суд над боярами, окольничими, думными дворянами. В Разбойном приказе опять Шереметев, Василий Петрович.

Казанский дворец и Сибирский приказ у зятя Федора Ивановича, у Никиты Одоевского.

Все в родстве с Романовыми и между собой. Потому и не спешил Борис Иванович Морозов.

Правда, через неделю после смерти царя Михаила у приболевшего Федора Ивановича Шереметева, чтоб силы он свои драгоценные не распылял на малое, взяли Аптекарский приказ. Взяли, но никому не отдали: пусть до поры дьяки хозяйство ведут. Себе Борис Иванович ухватил невидный Иноземный приказ. Здесь ведали наемными офицерами. Сила небольшая, но команда слушает и тотчас исполняет.

Хлопотал Борис Иванович! Строил гнездо со всех сторон сразу, соломинку за соломинкой, но всегда у него было главное дело.

Пора было избавиться от датского принца Вальдемара!

...Царь Алексей Михайлович первые недели своего царствия молился. По монастырям московским ходил, к мощам прикладывался. Первого августа, на праздник Происхождения Честного и Животворящего Креста, в кремлевской Благовещенской церкви к нему подошла сестра Ирина. Зареванная. Прошептала:

- Государь, братец, не погуби моей жизни!
- Ирина, зачем говоришь такое, голубушка?

А самому впору бы спрятаться где. Удел московских царевен — прощения у Бога просить. За что вот только? Европа не торопилась родниться с русскими

царями, а как выискался шустрой датский принц, опять незадача: крещен, да не по-нашему. Отдать православную царевну за еретика — не токмо ее душу, но и свою ввергнуть в грех неискупимый. Принц жил в России уже год, а вопрос никак не могли разрешить. И уж собирался было Михаил Федорович — ради дочери, да и ради государства — закрыть глаза на подпорченную веру будущего зятя, но Господь Бог не дал ему согрешить, прибрал. Однако вокруг принца состоялась боярская партия, и, дабы смуты новой не породить, Борис Иванович, не дожидаясь, пока вся власть перельется из сосуда Шереметева в его сосуд, от имени нового царя щедро наградил Вальдемара, и осталось только выпроводить зажившегося гостя.

Ирина как увидела, что братец от нее бежать готов, на колени перед ним пала:

— Смилуйся, государь!

— Но что же я могу поделать? — прошептал Алексей Михайлович. — Молод я! Никто меня слушать не станет. Помолись, Ирина! Помолись! И я с тобой помолюсь.

Он опустился на колени рядом с сестрой и заплакал.

В те дни вся женская половина Большого дворца ревмя ревела, а Евдокия Лукьяновна слегла.

Тринадцатого августа Вальдемара отпустили. Принимал его царь в Золотой палате, одарил соболями, золотом, дал ему для бережения, до границы, — не дай бог назад поворотит — полторы тысячи детей боярских под командой боярина Василия Петровича Шереметева. Тут бы и дух перевести, но восемнадцатого августа, не осилив горьких дум о судьбе дочерей: об Ирине, Анне, Татьяне, царица Евдокия Лукьяновна преставилась.

Осиротел шестнадцатилетний самодержец, припал к Борису Ивановичу Морозову. Один он остался у него своим. А Борису Ивановичу в няньках сидеть времени

нет. У государства норов неверный, отпустишь вожжи на день — год будешь плакаться: в сторону умчит, а то и всю повозку расшибет вдребезги.

Молодой царь в молитве усердствовал, и нашел ему Борис Иванович для бесед умилительных чистой души своего человека, протопопа Благовещенской церкви Стефана Вонифатьевича. И стал протопоп вскоре духовником царя.

Сквозь родниковый хлад синего дня родниковыми пузырьками пробивалась ласка солнца. Трава вдоль дороги была зелена, только блеск с нее сошел, веселый весенний блеск, а по деревам и вовсе, прихватив где вершину, где ветку или только листок, взыгрывала осень.

Дорога петляла лесом, с бугорка в низину, с низины на бугорок. И шли по этой дороге слепцы. Двенадцать слепцов с поводырем мальчиком.

— Грибами-то как пахнет, — сказал старец Харитон, рука которого лежала на плече мальчика. — Слыши, Саввушка, как грибами-то пахнет?

— Да как же им не пахнуть! Вон оне. Рядком и кругами по краю леса.

— Ты небось нас бросил и побежал бы за грибами-то?

— Я бы и бросил, да куда они, грибы, теперь? Если бы дома...

— Глупый ты, Саввушка. — Харитон в величайшем удивлении задрал бороденку. — Ведь коли тебе говорят, побежал бы ты за грибами, бросил бы слепеньких, значит, пытают верность твою, твой умишко... А ты — побежал бы!

— Дак я и побежал бы, коли бы дома, а коли мачтушка продала меня вам за два рубля без копейки...

— Не было у нас тогда копейки! — осердился Харитон. — Эко ведь — продала! Мы божеское дело содеяли. Братишек-сестричек твоих выкармливать-то

надо. Один рот долой — все облегчение. И нас возьми — куда мы без очей, без твоих ясных очей?

— Стой! — крикнул птичим резким голосом двенадцатый слепец. — Слышу, скачут.

Остановились.

— Скачут, — согласился старец Харитон. — На шестерке лошадей скачут. Веди, Саввушка, на пригористое открытое место, чтоб с дороги нас видать было, а плетью чтоб достать не смогли.

Сели на остывающую осеннюю землю, на подсохший колючий мох. Промчался в клубах пыли большой боярин. На шестерке лошадей. За боярином, поостав на полверсты, проскакала сотня рейтар, рыская по обочинам дороги.

— Сидеть! — крикнули слепцам.

За рейтарами в тарахтящих телегах прокатили, растряская жирок, московские стрельцы. Телег было десять.

— Эй! — Стрельцы показали слепой братии бердыши. — Эй!

— Царь к Троице едет! — сказал Харитон. — Петушок наш молоденький!

Но царь все не ехал, и Саввушка заерзал было, завертелся, но тут на дороге появились люди.

— Пешие! — сказал Саввушка.

— Кто первым идет? — спросил Харитон.

— Парень!

— Хе! — закрутил высоко поднятой бородой, заулыбался солнышку Харитон. — Гляди на того парня шибче да поклонись ему, как проходитъ будетъ, ниже.

— Неужто парень-то сам батюшка царь? — на весь лес, ясно, звонко удивился Саввушка.

— Ш-ш-ш! — Слепец Харитон ущипнул мальчика пониже шеи, с вывертом, со злобой, как гусак. И заторять не дал: ладонью крик придушил. Сквозь слезы плохо видать, а царь — вот он. Ходко идет, размаши-

сто. За ним, чуть поотстав, рынды, монахи, всякая служка.

Увидал царь слепцов, остановился. На обочину шагнул:

— Ты чего, поводырь, плачешь?

— От счастья тебя зреТЬ, государь-батюшка! — проворно воскликнул слепец Харитон. — За всю нашу братию глядит отрок. За всех и плачет!

Алексей Михайлович, краснощекий от ходьбы, от бодрого воздуха, от молодости, повел рукой, и ему тотчас вложили в руку кошель с деньгами.

— Помолитесь, старцы, за упокой души моей матушки, а вашей царицы, за Евдокию. Молитва увечных да скорбящих скорее до Господа дойдет, ибо Господь всегда с вами!

Щедрой рукой насыпал серебряных чешуек — денежек — в шапку старца Харитона.

— А это тебе, отрок. За слезы твои. — И дал Саввушке ефимок. Пошел было, но обернулся: — Как зовут, поводырь?

Савве бы на колени пасть, а он, наоборот, вскочил:

— Саввой!

— Береги, Савва, мое подаяние, а коли кто отнять посмеет, приходи ко мне — Господь даст, найдем на отымальщика управу.

— Ладно! — закивал головой Саввушка.

Старец Харитон прошипел что-то, но в следующий миг взвился ангельским голосом: «Господи, помилуй!»

— Господи, помилуй! — запели слепцы, разойдясь на голоса.

Царь, удивленный красотою неслыханного пения — привык к унисону, — опять остановился:

— Где так петь учились?

— В Малороссии.

— Если к Троице идете, сыщите меня. Послушать вас хочу.

Царь пошел своей дорогой, а слепцы, поднявшись с земли, пели ему вслед. Лес перекатывал дивное эхо. Царь на ходу руками утикал хлынувшие слезы — легкие, обильные, вымывающие из души камень горя.

4

Как помер царь Михаил, дня не было, чтоб дом боярина Бориса Ивановича Морозова — без гостей.

Приезжали помянуть царя и царицу, привозили хозяину дома подношения: серебряные кубки, братины, шубы — собольи, рысьи, беличьи; сабли и ружья с чеканкой, в каменях дорогих, расшитые жемчугом пелены, кресты и зеркала. Гости за дверь не выставишь.

От скорби немочный — пошатывало, — Борис Иванович принимал всех, и подарки тоже принимал.

Наконец-то пробились к нему и родственники, Леонтий Стефанович Плещеев и Петр Тихонович Траханиотов. Петр Тихонович приходился Борису Ивановичу зятем, а Леонтий Стефанович был зятем Петра Тихоновича.

— По бедности нашей двумя дворами один подарок едва осилили, — пожаловался Петр Тихонович, поднося с поклоном Борису Ивановичу святое Евангелие в золотом окладе с изумрудами.

Глаза Бориса Ивановича сверкнули ответной лаской. Такой оклад двух деревенек стоит. Ничего не сказал, подарок принял, поставил под образа, положил гостям руки свои маленькие, мягонькие на плечи, усадил за стол и перестал быть болящим.

— Поговорим, ребятки. Есть о чем поговорить.

Хлопнул в ладоши, велел подавать пироги. Сел в красном углу, локти на стол, подпер голову ладонями и как бы ухо выставил. Гости поняли: говорить будут они. И заговорили.

— О великомуздрый отец наш, Борис Иванович, на тебя все наши упования! К тебе идем, как идут на свет ночные мотыльки! — так запел Леонтий Пле-

щев. Морозов не расцвел, но и не поморщился, слушал, чуть набычив круглую большую голову, бритую, в бархатной ермолке. — Отец наш, Борис Иванович, ты можешь нас выгнать из дома, но мы пришли сказать тебе правду истинную. Не только мы, вконец обнищавшие московские дворяне, — вся святая Русь глядит на тебя с надеждой и ждет от тебя деяний великих и крутых. Коли ты велишь нас всех кнутами перестегать, перетерпим. Лишь бы Россия была спасена от грабежа, самоуправства и глупости.

В лице Морозова никакой перемены, но ведь слушает.

— О господин наш, отец и учитель, — подхватил песню Петр Тихонович. — Может, мы по незнанности своей, по дикости, вдали от царского престола, мыслим дурно и ничтожно — тогда прости, просвети и наставь на путь! Но ведь, отец наш, попустительством сильных властей гибнут города, земля приходит в запустение. Нищие порождают нищих, но в наши дни уже и дворяне плодят не дворян, а опять же нищих.

— За взятку в судах могут засудить самого Господа Бога, прости меня, Всевышний, за святотатство, но это так! — воскликнул Плещеев. — Святые монастыри скапывают лучшие земли. Городской посад разорен вконец. Люди, несущие тяжесть податей, закладывают себя патриарху, боярам Шерemetевым, Стрешневым, лишь бы освободиться от тягла. И вот, глядишь, уже не сто дворов, а пятьдесят несут непосильный груз поборов и всяких общинных и государственных служб. А тяглецы все бегут! Чего дожидаться? Или близкие к царю Михаилу люди позабыли годы смуты?

Морозов молчал.

— Есть одно средство от безудержного бунта черни, — сказал Плещеев. — Родовитеши должны поделиться властью с дворянами.

— Посад нужно укрепить, — провозгласил Траханиотов. — Всякий бунт, как уголек в печи под золой,